

Иван Сергеевич Шмелев

Гражданин Уклеikin

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84
И17

Иван Сергеевич Шмелев
И17 Гражданин Уклеikin / Иван Сергеевич Шмелев – М.: Книга по Требованию, 2012. – 80 с.

ISBN 978-5-4241-2155-5

Герой повести, полунищий сапожник, пьяными выходками мстящий обществу сытых за обиды и унижения, круто меняется, охваченный атмосферой общественного подъема. Пробудившееся чувство человеческого достоинства, гражданская активность возвышают нравственное самочувствие, облагораживают образ жизни Уклеикина. Трезво оценивая итоги первой революции, Ш. показывает неизбежное крушение смутных, но страстных и радостных упований героя на скорую перемену несправедливого строя жизни, разоблачает лживую игру правящих верхов в демократию. Этой повестью Ш. на материале современной ему действительности талантливо продолжил одну из коренных тем русской литературы, идущую от А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоевского,- тему "маленького человека".

ISBN 978-5-4241-2155-5

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2012

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2012

Иван Сергеевич Шмелев
Гражданин Уклеikin

I

— Уклеikin идет! Уклеikin идет!..

Мальчишки бросали бабки, собирали змеи и бежали на улицу. Полицейский, кидавший в рот семечки у окна прачешной, выдвигался на мостовую. В самоварном заведении Косорылова стихал лязг, и чумазые медники высыпали к воротам. Портнихи вытягивались из окон, роняя горшки герани.

— Идет!.. Твердо идет нонеча.

Головы поворачиваются к посту.

— Ладушкин дежурит...

— А што твой Ладушкин!.. Махнет проулком... Как намедни в одной опорке-то стеганул!..

— Ужли не прорвется, а?

— Сурьезный штой-то...

Всем хочется, чтобы Уклеikin прорвался на Золотую улицу, в публику. За ним ринутся, и будет скандал.

Уклеikin начнет откальвать, прохватывать и печатать, начиная с головы и кончая подчаском. Пока захватят и погрузят на извозчика, он высыплет много кое-чего, о чем не говорят

громко, а разносят из дома в дом так, что сейчас же узнают на задворках; что казалось забытым и вдруг всплывает; что было даже одобрено про себя, но чего в открытую еще стыдятся; что шмыгнуло мимо портфелей следователя и прокурора, ловко избегло удара печатного станка и вдруг непонятым путем встряхнулось в помраченных мозгах и гулко выкатилось на улицу из сиплой глотки полупьяного сапожника.

— Чего глядите-то?.. Уклеikin, что ли-ча, идет? — спрашивают сверху портнихи.

— Мчит! Спускайтесь, Танечка!

— А ну вас... Нам и здесь хорошо.

— Им не годится середь публики в открытом виде.

— Варька-то, Варька-то расползлась! ровно как мягкая...

— Со щиколаду. Ее кажинный вечер мухинский конторщик щиколадом удовлетворяет.

Уклеikin идет решительно, высоко подымая тощие, узловатые ноги, словно выдергивает их из мостовой. Как гремучая змея хвостом, шмурыгает он опорками, подтягивая на ходу остатки порванных штанов. Испитое, зеленоватое лицо сосредоточенно-мрачно, а глаза водянисты и тусклы. Он уже потерял картуз и следит за опорками. Мальчишки веселым роем кружат и жалят.

— Жулье!.. шкалики!..

Он выдирает слова из нутра, и они падают толчками, как маленькие частые пули. Худая рука поднята и грозит пальцем, а глаза видят какую-то никому не ведомую точку.

— Уклеикину почет-уважение! Отошел?.. Клади им!..

— Предались!.. Шпана!.. Дар-рмод!

— Сыпь! Жарь! Качай их! Во-от!..

Толпа подвигается вместе с Уклеикиным к посту.

— Достигну!.. Същу!.. Што?.. Душ-ши!.. Брюшники!.. Манжетники, черти!.. Што-о? Пропущай!

Полицейский стоит, расставив руки, и следит за Уклейкиным, словно играет в коршуны.

— Ты лутче не шкандаль. Гуляй себе и не шкандаль!

— Пропущай!.. Слово хочу!

— Нет тебе ходу дальше!

— В-вы... так што... полицейский? Рази я допушаю, што...

Уклеикин тарашит остеклевшие глаза, пытается говорить отчетливо и казаться вежливым и трезвым, и голос его играет.

— Та-ак... А п-позвольте вас спросить... Вы... госпо-дин полицейский? Правильно я говорю?.. Хо-рош-шо... Вы тут постановлены... для чего? Для порядков? Хо-рро-шо-о. Для порядков вы тут постановлены? Вас тут установили? Та-ак... А вы, какое такое правило, што вы... не хотите никого пропускать?.. А? Ежели я житель... и все такое... Могу я гулять по воздуху... и при публике, а? Могу я выражать, штобы...

— Вот тебе публика, и гуляй!

— А я в разные стороны хочу. Вить я житель... и все жители... А мне публику надо... пу-бли-ку!.. Шпана! Шкалики!.. Слово хочу сказать. Пропущай!

И он выпячивает грудь, накрытую затертым фартуком.

— Раз ты намерен безобразить, я чичас тебя...

— За-чем, безобразий нет... Вы не пропускаете жителей... и я... А позвольте вас спросить: тебе кто жалованье платит, а? Не-ет, ты не заслоняй... Я вот неграмотный и ничего не знаю, а вы знаете все законы... и хочу вас спросить... Вы не желаете сказать? Та-ак, хор-ро-шо. А ежели я городской голове слово хочу сказать. Ж-жулик! Всех жителей обокрал! Шкалик!..

— В-во-от чисти-ит!.. Н-ну-у...

— В Сибирь его!

— Ты не безобразь! За такие слова тебя...

— Поволокешь? Н-на-а!.. Я го-спо-ди-ну... приставу слово хочу сказать.

— Ты до начальства не прикасайся... Ты не...

— Трешник слопал! В сапогах ходить любит... Где такое правило? Предались!

— Правильно! Он вить хочь пьян, а понимает.

— Дак ты што ж это?..

Полицейский колеблется, — взять или допустить. Но народ все свой.

— Не тревожь его, господин полицейский... пусть его!..

— Уклеикин, стих скажи! Здорово у него слажено... Вон и барышни желают.

Уклеикин оглядывается на окна. Розовые лица молоденьких портних задорно смеются.

— У-ух ты! Мамзели! Веселые барышни!.. Не намните грудки, оставьте маленько для Мишутки!..

— Ах шут эдакой, загнул!..

Взвизгивают сочные молодые голоски. Смеются все, даже полицейский. Уклеикин переменяет тон, а это обещает зрелище захватывающее.

— Эх, подобью каблучки-набойки, ходи с угла до помойки!

Веселым гулом отзывается всегда сонный переулочек. Приседают, хлопают Уклеикина по — Уважь еще, Уклеикин!.. Про комариков-то... Вот продернет!..

— Стой!
 И-эх и блошки мои, комарики,
 Не горят наши фонарики!! А отчево?
 То-то! Отгово, што городская управа
 Тащит налево и направо...

— Ну, пропускай!.. Правду хочу изложить.

— Налют тебе, брат, за правду.

— А мы выльем!
 И-эх и каблучки мои подметки!
 И охотник я до водки!
 Пью портейн я и мадер
 И шинпанскую партер!

— И набирает, шут его возьми...

— Пропущай! Тебе говорят!

— Уклейкин, про полицию вали!

— Про пристава! Гы-гы-гы... Гладко у его про пристава... Да не бойсь!

— Боюсь? Я?! Супротив хочь кого!

Полицейский тревожится, — можно ли. Но он не слышал еще про пристава.

— Здесь могешь все, а туда не допущено.

— Прорвусь!..

— Не прорвешься.

— Достигну! Я их во как изуважу!.. Жулье!

— Ну-ка, про несчастного-то... Вклей!..

— Л-ладно... Я ему пропою... ширококрылому черту... Давай его сюды!.. Н-ну!..

Уж и Иванов... наш пристав частный...
 Ужась человек несчастный!
 Страсть!..

— Во-во... как сейчас резанет... Ну-ка!
 Ни попить ему, ни съесть, —
 Все бы как в карман залезть...

— А то в морду слазить... Он ма-астер...
 И чистит зубы ломовым,
 Однако часто... и городовым!

Уклейкин щурит глаз и делает пояснительный жест.

— Ну, уж это ты... Ломовым это так, а...

Полицейский не совсем доволен.

— А Митреву-то? — возражает медник.

— Ну, дак это на пожаре... Дело горячее...

Полицейский кладет на плечо Уклейкину руку и говорит примирительно:

— Ну, вот што, Уклейкин... ступай ты теперь к Матрене и не шкандаль.

— Ты меня Матреной? Ма-тре-на!.. Тьфу!

Шкура! Понимаю я себя ай нет? Пропущай! На публику хочю!.. Н-ну!

— Не лезь, нельзя.

— Пушай! Я житель... житель я ай нет? Не можешь меня... Пу-усти!

Уклейкин напирает лицо к лицу, выпячивает грудь и откидывает голову.

— Што ж не пропускаешь-то его, в самделе... Дай ему душу-то отвести...

Может он гулять-то!

— Расходись, ежели безобразить!.. Не скопляйси! Боле как троим не приказано... Н-ну-у!

А из-за толпы уже подобралась рослая, румяная баба и перехватывает Уклейкина за пиджак.

— Шкилет ты окаянный, а! Долго мытарить-то ты меня будешь, гнида ты несчастная, а?

Уклеikin сразу вянет, заслоняется рукой и бормочет:

— Не трожь... Сам, сам пойду... Ты не...

— У, несыть, кабашник! Ишь дармоеды, го-го-го! Лупоносы!

Она тащит Уклейкина за плечо, тычет в спину, и он идет толчками, откидываясь назад и на ходу вскакивая в опорки.

— Дай ей леща! Опоркой-то по башке! Э, зеваный черт!

Все еще не расходятся: сочувствуют Уклеикину и ругают Матрену.

— На меня б ее, печенки бы заиграли! — говорит кузнец.

— Уж и намылит она его, нашкипидарит!.. Чичас он еще в чувстве, а вот когда врастяжку, уж и лупит она его!.. Полсапожками по грудям, куда влезет.

— Баба могучая, д-д-а-а...

— Прямо клей! Все соки из его выбрала... Вот какая баба — груда!

— У ей крови много... путаная. С отцом дьяконом допрежь она все... Да вот у Власия-то на Стрижах, кудластый-то был... Стирала она у него, а он...

— М-да-а... Баба невредная...

— Хи-хи-хи! — заливались портнихи.

— А вы не слушайте, мы тут про деликатное толкуем.

— А мы и не знаем.

— А не знаете, так спускайтесь вечерком, узнаете...

Застучали медники. Застрочили машинки. Ударили к вечерням.

II

Когда случалось, в запой, попасть на Золотую улицу, Уклеikin первым делом направлялся к дому городского головы.

— Ага! Городская голова! Л-ловко! В три этажа загнул... Чи-исто!.. С миру по нитке — голому рубаха.

Мчался, брызгая грязью, рысак с окаменелым чудом на передке, и Уклеikin раскланивался вслед.

— Благодетели гуляют... От-лич-но!

Перед колоннадой депутатского собрания он брал картуз в обе руки, прижимал к груди и поднимал глаза к небу.

— «Дом бла-а-род-но-го дво-рян-ства!» Та-ак. Храм! Шапочку, господин, сымите.

...Отцы вы наши и родители,

Дворянские производители!..

Хохотала извозчицья биржа, а бульварчиком подкрадывался полицейский.

Участок Уклеikin обходил стороной, усаживался на уголке на тумбочку и говорил выразительно:

— Правительственный си-нод!.. Не подходи близко... Жулье!

Его тянуло сюда, как бабочку огонь, как поднятого зайца последнее логовище.

— Ежели ты у меня ешшо...

И Уклеikin летел с тумбочки, теряя опорки.

— Вдарь! Н-ну... еще! Тир-рань! М-можешь!.. И снова падал.

Одно время хотели даже выслать его из города, но вице-губернатор сказал:

— Оставьте. Скажут — деморализация власти. Приказать строго-настрого полиции не пускать его в общественные места в нетрезвом состоянии... Вот!

С тех пор Уклеикина перехватывали на перекрестках.

— Жулье!.. Шкалики!.. Шпана!..

Скромная тишина летнего вечера, упоенного отзвуками военного оркестра, нарушена, и тревожно вздрагивает самоуверенная труба, теряя такт. И обыватели уже оторвали взоры от молодецкой фигуры красноносого усача-капельмейстера.

— Уклеикина гонят!

— Где, где гонят?

— Да вон, к палате побежал. Вон стегает-то!

— Споткнулся.

— И вовсе не споткнулся... Это он за опоркой.

— Нет, перехватили.

Но труба уже отыскала потерянный такт, снова гремит ободряющий марш «Под двуглавым орлом», и граждане снова чихают в шелесте шелковых юбок.

— И с чего это в нем? — рассуждали иногда в переулке.

— С чего... Белый он! — говорил кузнец.

— То есть как белый?

— Известно как... вроде горячки.

— Зуда в нем такая есть, — пояснял церковный сторож. — Которая зуда... зудит она. Одначе, и выходит, ежели теперь...

— Какая, к черту, зуда! Просто дух такой, который...

— Ду-ух... Винный!..

— Там какой ни есть. Такой он, что ль, был? Не помню я его?

Да, когда-то Уклейкин был знаток песни и балалайки, балагур и форсун, старательно расчесывал вихры медным гребешком и начищал скрипучие сапоги до жару. Носил строченую косоворотку, по праздникам сморкался в красный платок и заходил в парикмахерскую «подровняться».

Когда-то — давно это было, да и было ли? — тихими весенними вечерами, на лавочке у ворот, точно лопались вдруг струны взбешенной балалайки, затуманившиеся глаза заглядывали в глубокое, звездами осыпанное небо, и тихий, родившийся в душе вздох терялся в дребезжанье извозчичьей пролетки.

Это было давно. А может быть, и не было этого.

Не было ни старого полицеймейстерского сада, белой черемухи, сыпавшей в лунные ночи летним снегом, ни скрипучего оконца в сенях, где, затаившись в тени стен, робко оплакивала себя молоденькая полицеймейстерская нянька под неудержимо-раскатистые перехваты «барыни». А с неба тянулась вешняя, любовная грусть.

— Митюш, ты?

Славная пора, короткая, как июньская ночь.

Рядом с садом полицеймейстера жил Уклейкин. Как-то по весне затрепетала веселая балалайка у ворот, под скрипучим оконцем, выплыло белое лицо в черном полете окна, и обнаженная рука подперла простоволосую девичью голову.

— Хорошо перебираете.

— Матреша?... Здрасьте-с... Ежели желательно, могу бойчей.

— Ужли?

— Убеждайтесь!

И балалайка задрожала, ринулась:

И-эх и барыня-барыня,

И-эх и распробарыня,

Ды-по трахтирам не ходи,

Ды-в карман ручки не клади,

Ко мне глазом не мигай...

— Вот как мы!.. Как понимаете?

— Антиресно.

— Да уж... А вы спускайтесь к музыке, и будет антирес. И карамеличков можно прихватить.

Матреша спустилась, поглядывая на темные господские окна.

— Усач-то ваш дома? Рыжий-то?

— Ну его к ляду, уехамши...

— Сказывали, до вас он охоч...

— Н-нету... ничего...

— А сказывали, будто. Брехня, может!..

— Раз только в коридоре потискал, пес этакой...

— А вы ему в харю плюньте. Плюньте ему в харю, рыжему черту.

Вечер провели в саду, под черемухой, где балалайка выделявала потрясающие трели.

— Ежели б вы только могли сообразить... во внимание, как...

— А вы штой-то это... вы не лазьте куда не следует...

— Это куды ж? Ужли уж вы мне не поверите? Ужли я такой черт, что... Раз вы сумлеаетесь в качестве меня... вот мой для вас сказ. Давно я вас примечаю и балалайку завел на предмет вам... И-эх, Матр-реша!

Вздых.

— Дух от черемухи тяжкий... Голову разломило.

— Д-да... проникает... Матреша! Что я вам...

— Чего вы руки-то... Вздых.

— А-ах, Матреша!.. Нет у меня никого, окромя вас. Племени-роду своего не знаю, ни родителей.

— Вы что ж, из шпитательного?

— Прямо из-под забора. Только, конечно, я все едино как настоящий... Матреша, жалованья получаю я двенадцать целковых! Могу и больше, конечно, как ботинщик я... и французские, тонкие каблочки могу... И ежели что, случаем говоря... не отопрусь. А вы глазки не тревожьте... и вот что я вам скажу: приходите опослезавтра в «Дубки».

— Ежели отпустят...

— И ежели не отпустят, все равно. И что вы себя беспокоите?

— Тошно мне у его... Ночью все ломится...

— Н-ну, раз вы себя в порядке... и соблюдаете... Мат-реша!

Со звоном стукнулась о черемуху балалайка и стихла. Неслышно посыпались лепестки теплым снегом. Красноватый месяц глянул из-за забора и стал выбираться выше.

А через две недели Уклейкин получил Матрешу, серию с отрезанным до срока купоном, серебряную ложечку и кулич с солонкой, получил и постоянного славного заказчика, господина полицеймейстера, и поселился в полуподвальном помещении живоглота Ухалова, при собственном деле.

А через шесть месяцев получил и рыжеволосого Мишутку.

Но это было давно, лет десять назад. А теперь в городе не осталось ни полицеймейстера, перешедшего в мир светлый прямо из загородного ресторана, ни Матрешы, ни балалайки, ни веселого ботинщика. Остались Матрена и запойный сапожник Уклейкин. И не было майских разговоров под черемухой.

Другие были разговоры.

III

Жил Уклеikin в квартирке за восемь рублей, жил десять лет и десять лет клял жизнь, называл ее проклятушей и чертовой и в часы гнетущей, наваливавшейся неизвестно с чего тоски мысленно порывался уйти куда-то. Куда? Ну, этого он не знал. Так, уйти. И не видать ничего ни впереди, ни позади. Но что же нужно было видеть? И этого он также не знал. Есть что-то такое хорошее, и, если бы было оно, не было бы той непереносной тоски, когда глаза неподвижно, без думы, уставляются в угол, отворачиваются от мутного неба, зачем-то маячащего за окном. Сколько ни сиди на липке — одно и то же, одно и то же.

Солнце бросает какие-то мутные пятна на стены. В углах нарастает плесень.

Приобрели сберегательную книжку, положили когда-то двадцать рублей и порадовались. Нашел как-то Уклеikin на площади кошелек с семью рублями — и опять порадовались и отнесли на книжку. А теперь и книжки нет. Справили Мишутке полушубок, взяли последний трешник, чиновник пощелкал на счетах, сказал, что все выбрано, и оставил книжку у себя.

Все год от году дорожает, и все точно уговорились и накидывают. А последнее время прямо без милосердия. Самый линючий ситчик, что по девяти отдавали, теперь и по двенадцати не найти; спички, сахар, керосин, даже хлеб — все дорожает. Сколько ни тыкай шилом, сколько ни выкраивай резаком — ничего. Петля какая-то, а не жизнь. И не видать ничего.

А кругом дома так и прут к небу, а дворник угрожает:

— С первого штобы девять, велел.

— Жиды, черти!

— А ты сам накидывай... Теперь все...

— Накинешь на вас, чертей!

А жизнь бежит себе и бежит. И как-то умеют изворачиваться и вылезают. Вон пекарь, еще недавно Куцым звали, подольстился к хозяйке и надел «спиджак» и булочную открывать собирается. В окнах горят веселые огни, вывески новые поделали, под бархат.

По праздникам приказчики хорьковые шубы надевать стали и в белых ботиках щеголяют. Веселые, нарядные дамы папироски покуривают на тротуарах. И все откуда-то деньги добывают и на извозчиках катаются. И откуда ни послышишь — везде жульничество, везде норовят, как бы оплести. Только этим и живут.

Купчишка Ухалов с живого и с мертвого дерет, под проценты дает, до десятка домов в городе, с железной дороги краденое скупает, ходит к заутреням, а как сын в Нижний на ярмарку — к Троице с глазастой невесткой закатывается. Уж на что староста церковный, Папушкин, а взял да и спалил дом с лавками, премию получил и никому ни гроша не заплатил. И не докопаешься.

Городской голова все подряды в руки зацапал, на городские деньги торговлю оборачивает, двух портних у заставы держит, девчонку-малолетку за красоту из приюта взял, а она и повесилась. И никто никакого внимания, и все кланяются, и все на тройку его с серебряным набором дивятся, и с праздниками поздравляют, и в гости ездят.

Пристав за полцены сапоги требует, да чтобы на французской подошве, да чтобы замшевые, с лаковыми голенищами, и еще мошенником называет, а отка-